

Василий БЕЛОВ

# НАД ПРАХОМ В ПРИЛУКАХ

Печальный Батюшков —  
во мгле  
В земле своих Прилуках...  
С. Н. МАРКОВ

Но вначале он не был печальным. Поэзия Константина Батюшкова напоминает полумглу белой северной ночи, ее таинственный и радостный свет, проникающий в зеленые травы и спящие дома деревьев. Предугадывая появление скорой зари, поэт словно бы забавляется своим дарованием, и, когда взошло солнце Пушкина, он сжигает свой литературный архив...

Вселенная Анакреона, однако ж, была развешена задолго до этого, она смешалась с дымом Отечества. Однажды, размышляя о судьбе Ломоносова, Батюшков заметил, что «бедствия не всегда убивают талант: напротив того, они пробуждают в душе множество прекрасных свойств и знакомят ее с собственными силами». Только ведь бедствия бедствиям рознь. В начале октября 1812 года Батюшков писал другу П. А. Вяземскому:

«Москвы нет! Потери невозвратны! Гибель друзей, святая, мирное убежище наук — все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения или, лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Гейнриха и Фанелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На чем основать надежды?»

Действительно, на чем основать надежды, если даже глава Ивана Великого качнулась и дрогнула от страшного взрыва? Батюшков всевозможным образом утешал в жизни, кроме способности любить друзей своих, что его дарование «погибло в шум политическом и в беспрестанной деятельности». (Он называл деятельностью воинские сражения.) Дело было не в собственных ранах и личных тяготах. В послании к Дашкову поэт нечисто отворачивает прежний строй души, он не в силах забыть, как

Бродил в Москве опустошенной,  
Среди развалин и могил...

Он не разрешает и друзьям забыть о том, что остались одни уны, прах и горы камней, где раньше были  
...зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протечки славы  
И новой славы наших дней;  
И там, где с миром почивали  
Останки инок сятых  
И мило веки протекли,  
Святцы не касаясь их...

Самое беззащитное у человека — это его могила. Может быть, еще и поэтому Николай Рубцов просил похоронить его рядом с Батюшковым...

Константин Николаевич Батюшков лежал, защищенный бело-розовыми стенами Прилуцкого монастыря, ворота которого были закрыты несколько десятилетий. Скрывшись в монастырь, Батюшков был повержен в свое время. Говорю об этом потому, что новейшее святотатство, бесцеремонно ступающее по нашей земле, имеет свои традиции. Вспомним о том, как был потревожен прах Н. В. Гоголя, как останки Сергея Радонежского показывали в музеи, как искали золото в соловьиных могилах. Перепаханные сельские, разрытые городские, затопленные воинские захоронения — разве не на совести нашего и ближайших к нашему поколений? И приходится лишь удивляться, как же она живуча, эта «эстетика» гробокопателей, если она промывает нынче даже в некоторые виды искусств!

Многие помнят Прилуки. Батюшков знал о захватчиках Смутного времени, которые здесь, в монастыре, заживо сожгли пятьдесят девять монахов. Знал и еще о многом. Не мог он только знать, что произойдет здесь в 1930 году...

Нельзя не вспомнить в Прилуках о двух великих современниках Батюшкова, как бы обрамляющих его имя в истории нашей литературы, — о Гавриле Державине и Александре Пушкине. Случайно ли то, что один лежит в Вологде, второй — в Новгороде, а третий — в посковской земле? Не знаю, может, это и не совсем случайно.

Державин благословил юного лицеиста на великое служение русскому слову. Аполлон дал ему чуткое ухо — сказал о Пушкине Батюшков. Поэтический слух самого Батюшкова ни у кого не вызывает сомнений, хотя поэт и не сказал всего, что мог бы сказать. Страдания и болезни, вызванные войной, остановили его на литературной стезе.

«Сказан поход — вдали слышны выстрелы», — молвит он на одной из бивачных стоянок. Выстрелы Мартынова и Дантеса осыпали отечественную литературу, это произошло еще при жизни печального Батюшкова. Что он подумал, когда услышал отзвуки тех, уже не военных выстрелов? Об этом можно только гадать, стоя над излучиной реки Вологда, под этими белыми башнями...



К 200-летию со дня рождения

Константина Николаевича

Батюшкова

Рисунок А. ЯЦЕВИЧА

ЛУЧШЕ всех о Батюшкове сказал сам Батюшков, когда горючий путь его уже оборвался: «Что писать мне и что говорить о стихах моих. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

Эти слова, произнесенные уже безнадежно больным человеком и известные нам в передаче П. А. Вяземского, можно встретить в любой статье, посвященной Батюшкову. Обычно в них видят «проблеск подлинного глубокомыслия», освещивший на мгновение мрачную бездну, в которую рухнула его несчастная душа, увлекаемая роковым недугом.

Самое ценное здесь, конечно же, замечательная. Впрочем, отличительной чертой истинного гения является то, что он всегда знает себе настоящую цену. «Я заметил, — писал сам Батюшков по этому поводу, — что тот, кто пишет хорошо, рассуждает всегда справедливо о своем искусстве». Между тем слова Батюшкова о себе, приведенные в начале, интересны не только глубокой самооценкой.

«Поди узнай теперь, что в нем было» — это ведь в равной степени обращено и к себе, и к Вяземскому, и вообще к современникам, и к потомкам. По прошествии почти двух веков это восклицание звучит не как признание невозможности понять, а как призыв разбираться. Закономерен вопрос: неужто до сих пор не разоблачили? На это можно ответить так: иное изучили досконально, иное лишь частично, много не затронули вовсе.

Мы ищем более или менее отчетливое представление о месте и значении Батюшкова в истории русской поэзии и литературного языка. Решающую роль для нас играют здесь пушкинские высказывания о нем: «жрец любви, неги и наслаждения»; «звучи итальянски!» Что за чудотворец этот Батюшков? «Батюшков... сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского...» в т. д. Точно так же велико для нас значение взгляда Белинского на Батюшкова как на непосредственного предтечу Пушкина: «Это еще не пушкинские стихи; но последние уже надо было ожидать не других каких-нибудь, а пушкинских...»

Исходя из этого, мы строим и свое отношение к Батюшкову. Да, предшественник Пушкина. Но в отличие от другого его предшественника (Жуковского, погруженного в мир собственной души), он весь устремлен вовне. Красота пластическо-осознательная влекла к себе поэта. Батюшков — эпикурец. Батюшков — гедонист. Его творчество — высшая точка в развитии русской «легкой поэзии» до Пушкина. Он весь (опять-таки в отличие от Жуковского, тяготеющего к туманному Альбиону и туманной же Германии) обращен к «югу» европейской культуры: греко-римский мир, Италия, Франция — вот батюшковские области его. В соответствии с этим мы выстраиваем литературные ряды, в которых пытаемся осмыслить истоки батюшковской поэзии (Гораций, Тибулл, Петрарка, Тассо, Ариосто, Вольтер, Парни и др.). Все это, безусловно, имеет отношение к Батюшкову. Но все это — именно литературные ряды. Кроме того, в подспонье подобных построений лежит (подчас и неосознаваемое) стремление схематизировать не только творчество Батюшкова, но и вообще движение нашей литературы в начале XIX века.

Точно так же, схематично, мы пытаемся представить участие Батюшкова в культурно-общественной жизни его времени. Вот примерные узловые точки схем: знакомство с прогрессивным Гнедичем и через него — вхождение в кружок не очень прогрессивного, но замечательного А. Н. Оленина; затем вступление в Воле-

ное общество любителей словесности, наук и художества, вокруг которого группируются опять-таки прогрессивные силы художественного и литературного мира Петербурга и Москвы (Гнедич, Мерзляков, В. А. Пушкин и в особенности И. П. Пнин, «внесший в его работу дух широкой общественной инициативы»); отрицательное отношение к шишковской «Беседе» (конечно же, реакционной); потом вступление в Общество любителей российской словесности при Московском университете; наконец, Батюшков — Ахилл (Ах-хил!), член «Арзамаса»! Впрочем, в эту схему не вписывается тот факт, что в «Видении на брегах Леты» Батюшкова, хотя и топил всех шишкостов, самого-то адмирала А. С. Шишкова извлекать от забвения («...За всю труд своих громаду, За твердый ум и за

ласть реальную действительность привести в соответствие с той идеально-разумной действительностью, которая рисовалась «в мечтании». Ее резонанство неизбежно должно было выродиться в акизерство. Поколение Батюшкова, Жуковского, Гнедича, Федора Глинки, Вяземского, вступающего в литературу, пребывая в равно-молчаливом убеждении, что вот их-то образ мира, их-то «мечтание» и будет тем самым словом, которое устранил противоречие. Но... Можно было сколь угодно весело или зыблительно потешаться над графом Хвостовым и князем Шаликовым, лова их на несоответствии их поэзии с действительностью, а вот столь же зыблительно взглянуть на себя могли не многие. Пожалуй, лишь Батюшков из всего поколения был в полном смысле слова подавлен тем обстоятельством, что поэты как XVIII ве-

Евгений ЛЕБЕДЕВ

## ЖИВИ, КАК ПИШЕШЬ

дела Вкусил бессмертия награду». С ее помощью трудно объяснить, скажем, оценку Батюшковым члена «Арзамаса»: «Каждого Арзамасца порознь люблю, но все они купе, как и все общества, бредят, карячатся и вредят». Подобные факты мы квалифицируем как «непоследовательности» поэта и «прощаем» их (лишь бы схема не пострадала).

Между тем, как писал любивший Батюшковым Ломоносов, «с величайшею точностью природы нисколько не согласуются смутные грезы мысли». Схема деспотически ставит вопрос: или «Беседа», или «Арзамас», — как будто третьего не дано. А ведь именно это третье и искал Батюшков, начиная с середины 1810-х годов. Искать сознательно, напряженно, на пределе разумных и душевных возможностей. Ведь даже в «непоследовательностях», упомянутых выше, он был в высшей степени последователен, отделяя Шишкова от «Беседы», арзамасцев — от «Арзамаса», осмысливая их индивидуальное творчество независимо, как говорится, от групповых пристрастий.

На таких поэтах, как Батюшков, особенно строго проверяется способность современников и потомков (будь то профессиональные литераторы или просто читатели) не только к эстетической, но и вообще к духовной и нравственной отзывчивости. «Чт» касается до Батюшкова, — писал Пушкин, — уважим в нем несчастья и несозревшие надежды». В пределах схем, грубое начертание которой было только то, что предложено, словам Пушкина отводится роль итогового заключения. Для сознания, еще не закончившего, они должны стать поводом не к закрытию темы, а к новым поискам. Примечательно уже то, что здесь несчастья и созревавшие, но не созревшие надежды поставлены рядом.

Вяземский однажды отметил характерное несоответствие, касающееся поэзии и личности Батюшкова: «Неужели Батюшков на деле то же, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем». Иными словами, образ поэта и действительности, созданный гением Батюшкова, не совпадал с той реальной жизнью, которую он вел. Но ведь это несопадение не было свойством одной только поэзии Батюшкова — Ломоносов писал о том, что, создавая произведение, стихотворец должен «представить себя как изумлена в мечтании». Русская поэзия XVIII века, решая свои эстетические и нравственно-политические задачи, находилась «как изумлена в мечтании», пыта-

лась реальную действительность привести в соответствие с той идеально-разумной действительностью, которая рисовалась «в мечтании». Ее резонанство неизбежно должно было выродиться в акизерство. Поколение Батюшкова, Жуковского, Гнедича, Федора Глинки, Вяземского, вступающего в литературу, пребывая в равно-молчаливом убеждении, что вот их-то образ мира, их-то «мечтание» и будет тем самым словом, которое устранил противоречие. Но... Можно было сколь угодно весело или зыблительно потешаться над графом Хвостовым и князем Шаликовым, лова их на несоответствии их поэзии с действительностью, а вот столь же зыблительно взглянуть на себя могли не многие. Пожалуй, лишь Батюшков из всего поколения был в полном смысле слова подавлен тем обстоятельством, что поэты как XVIII ве-

лось по-настоящему преодолеть пропасть между жизнью и словом о жизни. Батюшков же предвосхитил целый ряд творческих коллизий и чисто человеческих трагедий, разыгравшихся впоследствии на границе литературы и реальности: Боратынский, Гоголь, Тютчев, Некрасов, Толстой, Блок, Есенин, Маяковский, Заболоцкий — все они пришли потом.

Поняв, как нельзя писать, Батюшков размышляет о путях сближения литературы с реальностью. Писателями, которые вполне выразили свое время и усовершенствовали наш язык, он считал Ломоносова, Державина, Фонвизина, Карамзина, Крылова. «О! как стал писать этот злодей!» — говорил так о Пушкине, Батюшков один, пожалуй, видел, какой немощной трудности задачу предстояло решить юному гению, на что он дерзнул.

Многое в творчестве и судьбе самого Батюшкова оказалось актуальным не только для Пушкина (который в иных отношениях был просто учеником его), но и для всего XIX века. Творчество Батюшкова — не вседержащее, но самое близкое к вседержащему звено русской литературы.

Характерная деталь: Пушкин, получив известие о болезни Батюшкова, отказался верить в его сумасшествие, а в марте 1830 года, когда все уже было необратимо, навещает больного, пытается заговорить с ним, но тот его не узнает.

Можно предположить, что наряду с участием Пушкин проявил здесь еще и художническую пылкость. Проблема безумия была одной из важных проблем и в литературе, и в общественной жизни первой трети XIX века. Волков, Грибоедов, Боратынский, Ф. Глинка, Тютчев, Гоголь, В. Одоевский и другие в разные годы и с самых разных сторон подошли к ней в своем творчестве.

Батюшков по возвращении из заграничного похода 1813—1814 гг. писал: «Мы подобные теперь Гомеровым воинам, рассеянным по лицу земному. Каждого нас гонит какой-нибудь мистический бог: ког Марс, кого Аполлон, кого Венера, кого Фурин, а меня — Скука». Скука, как все понимали в XVIII—XIX вв., — это не просто состояние душевного безделья, но состояние душевного тумана, застенка. Невнятность — де-мисимизм. Спустя тридцать лет после Батюшкова Гоголь (тоже, кстати, разочаровавшийся в возможностях пластическо-осознательного стиля) писал о духовном оскудении общества, как бы подхватывая батюшковский образ, укрупняя его до символа: «И понятную тоску уже загорелась земля; черствеет и черствеет становится жизнь; все мелчает и мелает, и возрастает в виду всех оид исповедный образ скуки, достигающий с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, молча повсюду. Божье Пусто и страшно становится в твоём мире!»

Батюшков с его трагической судьбой стал «чувствительнее» тогдашней русской жизни. Он незримо присутствует в таких созданиях Пушкина, как «Медный всадник» (не только в описании Петербурга, но и в безумии Евгения), «Не дай мне бог сойти с ума...» и, конечно же, «Странник», где указан выход из тупика.

...В полном объеме Батюшков нами еще не прочтен. Скульптурные и живописные формы поэзии, созданные Батюшковым-эллином, Батюшковым-итальянцем, нам более или менее понятны и отрады. Но под ними «хаос шевелится». Теперь на очереди стоит Батюшков-кхмиевец. Вечерний, русский. Надо только, отдавая долг гениальному поэту и самолюбному мыслителю Константину Николаевичу Батюшкову (а мы в большом моральном долгу перед ним), не забывать о его завете, которому сам он был верен до конца: «Поэзия... требует всего человека».

Нет, нет! талант погнби мой  
И лира, дружба драгоцена,  
Когда ты будешь мной забвения,  
Москва, отчизны ирай златой!  
Нет, нет! пока на поле чести  
За древний град моих отцов  
Не понесу я в жертву мести  
И жизни, и в родные любовь!  
Мой друг, доколе будут мне  
Все чудны музы и хариты,  
Вени, рукой любви святы,  
И радость шумная в вине!

ка, так и новые (будь то шишковисты или их антиподы) не только не отражают реальности, но и не ставят перед собой такой задачи. Никто из его современников не видел так отчетливо глубокою этической подоснову художественного творчества: «...Живи, как пишешь, и пиш, как живешь... Иначе все отголоски лиры твои будут фальшивы».

Таким образом, основное противоречие творчества Батюшкова было противоречием всей предшествующей и современной ему литературы. Строго, беспощадно оценил его (притом к выводу, что вообще так писать, как писали раньше или пишут сейчас, нельзя) Батюшкову помогли великие события, в которых его «судьба человеческая» слилась с «судьбой народной». В октябре 1812 года он пишет Гнедичу: «Ужасные происшествия нашего времени, происшествия, случившиеся как нарочно перед моими глазами, зло, разлившееся по лицу земли, все виды на всех людей, так меня поразило, что я насилью могу собраться с мыслями... Я видел, видел целые семейства всех состояний, всех возрастов в самом жалком положении... Видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны, и с трепетом взираю на землю, на небо и на себя... Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и в ее окрестностях, поступки беспримечные и в самой истории, все расстроили мою маленькую философию... И мы до того были ослеплены, что подражали им, как обезьяны! Хорошо и они нам заплатили!»

Великое поэтическое создание Батюшкова, послание «К Дашкову», в почти осязательной конкретности зафиксировало убийственное для «маленькой философии» ее столкновение с реальностью:

Нет, нет! талант погнби мой  
И лира, дружба драгоцена,  
Когда ты будешь мной забвения,  
Москва, отчизны ирай златой!  
Нет, нет! пока на поле чести  
За древний град моих отцов  
Не понесу я в жертву мести  
И жизни, и в родные любовь!  
Мой друг, доколе будут мне  
Все чудны музы и хариты,  
Вени, рукой любви святы,  
И радость шумная в вине!

До Батюшкова только Авакум ставил вопрос так же радикально, говоря про себя, что «всичаши философским не обих речи красить, понеже не словес красны бог слушает, но дел наших хочет». Однако это было сказано в донетровской Руси. В новое время Батюшков был первым, кто выразил эту мысль, самую большую и самую задушевную для всей русской литературы. Только Пушкину уда-

# «ПРЕДВЕСТИЕ СКОРОГО ПЕРЕВОРОТА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ»

Новое о стихотворении «Вакханка»

Заметка

в записной книжке

Сохранились три записные книжки К. Н. Батюшкова. Из них только книжка 1817 года, имеющая авторское название «Чужое: мое сокровище!», опубликована полностью — в 1885 году во втором томе «Сочинений» поэта под редакцией Л. Майкова. Записная книжка 1810 года, озаглавленная «Разные замечания», описана Н. Фридманом в 1955 году. Первоначально она принадлежала В. А. Жуковскому. Наиболее полно ее батюшковская часть представлена нами в сборнике Батюшкова «Нечто о поэте и поэзии» (1985 г.). Однако научная публикация этой книжки — дело будущего.

Та же записная книжка, о которой пойдет речь, не велена еще в научный обиход. Она сохранилась в довольно обширных фрагментах в виде сшитой тетради большого формата и отдельных листов, вырванных из этой тетради, и находится в фонде Батюшкова в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Судя по пометкам и характеру записей, поэт заполнял эту книжку в 1809—1810 годах, когда жил в родовом поместье Хантоново, близ Череповца. Она отражает круг чтения Батюшкова в то время, его увлечения и творческие поиски. Прозаические переводы из «Метаморфоз» Овидия, из драматической пасторали Т. Тассо «Аминта», французские выписки из «Похвального слова Марку Аврелию» А. Тома, из речей О. Мирабо, стихотворные переводы элгий Э. Ланте. Тут же — черновики стихов, что вообще большая редкость: поэт обычно уничтожал черновые записи. Тут же — размышления о прочитанных книгах, заметки «для себя». Заметки эти по большей части касаются древней истории и мифологии. Одна из заметок вызывает особенный интерес:

«Фиды или Вакханки все едино. Они соединялись в Дельфах и вместе отправлялись шумной толпой на высоты Парнасса; там в тишине и безмолвии, праздновать Вакховы победы. Их иступление было ужасно и, кажется, от одной вдохновенной приставки к другой и так далее. Невероятное неистовство сия женщины не покажется столь удивительным, когда мы вспомним, что Гречанки были чувствительны, имели пылкое воображение, способны принимать сильные впечатления. Часто толпы их, как потоки, разливались по склонам, по горам, по целым землям, неся повсюду опустошение и разврат. Нагие, с распущенными волосами, с тирсами в руках, они испускали ужасные вопли. — Я читал, помнится, что женщины, подверженные истерическим припадкам, сообщают их своим подругам, так что в обществах нередко одна, после одной другая теряет чувства. Замечено, что в древнейших несчастиях, как, например, во время Французской революции, женщины бывали чаще подвержены сии слабостями. Итак, мудро ли, что одна из Фид, нарочно произносящая ужасной вопль с кривлянием, с судорогами, сообщала другим, невольно сии заражающим?»

Запись «для себя» — как зерно будущего замысла. Замысла, воплотившегося в классическом стихотворении Батюшкова «Вакханка».

История «Блудовской тетради»

Все на праздник Эригоны  
Жрицы Вакховы текли;  
Ветры с шумом разнесли  
Громкий вой их, песни и стоны.

Так начинается стихотворение Батюшкова, вошедшее в хрестоматию русской поэзии. Оно покорило уже современников поэта. На полях сборника стихов и прозы Батюшкова возле «Вакханки» Пушкин написал: «смело и счастливо». И ниже: «Подражание Парни, но лучше подлинника, живее». Формально «Вакханка» — вольный перевод девятого эпизода поэмы Э. Парни «Переодевания Венеры». По существу же — очень батюшковское стихотворение.

Белинский назвал «Вакханку» «апофеозом чувственной страсти». В третьей статье из цикла «Сочинения Александра Пушкина» критик привел это стихотворение целиком и, в частности, заметил: «Также стихи и в наше время превосходят: при первом же своем появлении они должны были поразить общее внимание, как прелестное скорого переворота в русской поэзии».

Позднейшие исследователи, говоря об идеологическом и художественном своеобразии творчества Батюшкова, о жизненно-убойной устремленности его поэзии, о языковой гармонии его стихов, неизменно ссылались на «Вакханку».

Но до сих пор не прояснен существенный вопрос: когда написана «Вакханка»?

Впервые стихотворение Батюшкова было напечатано в составе его единственного сборника «Опыты в стихах и прозе», вышедшего в 1817 году. На этом основании Л. Майков датировал «Вакханку» 1816—1817 годами.

В 1916 году была обнаружена так называемая «Блудовская тетрадь» — роскошный альбом со списками стихов Батюшкова, принадлежавший его приятелю, «арзамасцу» Д. Блудову. Эта тетрадь заполнялась не позднее февраля 1815 года. Тем не менее «Вакханка» здесь присутствует, да еще в окружении стихотворений 1809—1810 годов. В капитальном исследовании «Поэзия Батюшкова» Н. Фридман счел нужным говорить, что, хотя «Вакханка» и написана, «по-видимому, в 1815 году», по существу, она примыкает «к первому периоду творчества поэта».

Важно установить, написано это стихотворение до войны 1812—1814 годов или после нее. Отечественная война — основное событие «батюшковской эпо-

хи», главный рубеж в творчестве поэта. В его послевоенных стихах были анакреонтические мотивы сменяются глубочайшими трагическими размышлениями о «непознанной» родине, о тяготах поэты и «срунах» друзей... «Вакханка» же, датируемая 1815 годом, выламывается из общей эволюции творчества Батюшкова...

Итак, «Вакханка» вошла в «Блудовскую тетрадь». Но ведь в переписке Батюшкова «Блудовская тетрадь» упоминается гораздо раньше 1815 года! Впервые — в письме Батюшкова к П. А. Вяземскому от 3 октября 1812 года. Собираясь на войну и готовясь к возможной гибели, поэт писал: «Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь...» Одновременно Батюшков написал о том же другом своему приятелю — Н. И. Гнедичу: «Если Блудов еще не уехал, то... попроси его, чтоб он тебе вручил книгу с моими стихами или копию с них...»

Бесспорно, здесь говорится о первой «Блудовской тетради», взятая которой позднее, в 1814—1815 годах, когда Батюшков, вернувшийся с театра военных действий, тесно общался в Петербурге с Блудовым, была составлена теперь уже вторая «Блудовская тетрадь» (о ней-то и шла речь выше).

Первая «Блудовская тетрадь» хранится в Пушкинском Доме. Она была кратко описана еще в 1861 году А. Афанасьевым, потом какое-то время считалась утраченной (Майкову, например, она не была известна). В сборнике 35 стихотворений Батюшкова, хронологически последнее — послание «К Ж...уковский-му». Под ним стоит дата: «Июнь — 1812-го».

«Вакханка» здесь пятое по счету стихотворение. Очевидно, что написана она не позднее 1811—1812 годов, так же как и другое вошедшее в этот сборник стихотворение Батюшкова — «Элегия из Тибулла», которое традиционно датируется 1814 годом. Новая датировка все ставит на свои места: ни Тибулла, ни Парни Батюшков после Отечественной войны не переводил.

К первому стиху «Вакханки» в дошедшей «Блудовской тетради» есть авторское примечание, впоследствии выпущенное: «Эригона, дочь Икарна, которую обольстил Вакх, преобразился в виноградную кисть». Это примечание отсылает читателя еще к одному античному мифу...

«Вычеркнуто ошибкою»

Я за ней... она бегала  
Легче серпы молодой;  
Я наступил — она упала!  
И тигран под головой!  
Ирицы Вакховы промчались  
С громким воплем мимо нас;  
И по роде раздавались  
Звоны и неги глас!

Так кончается «Вакханка». Совсем неожиданным оказалось отношение самого Батюшкова к одному из лучших своих поэтических созданий. В журнале «Вакханка» не появилась. В «Опытах...» была включена, вероятно, не автором, а издателем сборника Гнедичем.

Когда в 1819—1821 годах поэт задумал готовить второе издание своих стихотворений, то прежде всего из сборника вычеркнул десять ранних произведений: басню «Сон могильщика», эпиграммы, анакреонтические стихотворения «Веселый час и ряд других».

Относительно «Вакханки» у автора возникли сомнения. В батюшковском экземпляре «Опытов...» стихотворение перечеркнуто жирным крестом, а на полях написано: «NB: вычеркнуто ошибкою. Печать!» «Ошибкой» говорит о многом, и прежде всего о том, что поэт вовсе не считал «Вакханку» шедевром и не дорожил ею. Косвенно это «ошибкой» подтверждает нашу датировку: все произведения, вычеркнутые Батюшковым, — ранние, и «Вакханка» здесь, вероятно, не была исключением. Непосредственно же эта «ошибка» заставляет вспомнить приведенную выше заметку из записной книжки.

Что такая вакханка в батюшковских стихах? Олицетворение любви, радости, юности — своего рода «милая идеал» поэта, воплощенный в торжестве языческой страсти:

Строитель стан, кругом обвитый  
Хмель желтого венцом,  
И пылающие ланиты  
Розы ярким багрянцем,  
И уста, в которых тает  
Пурпуровый виноград...  
Все в неистовой прелесть  
В сердце льет огонь и яд!

Но Батюшкова — автора заметки в записной книжке — явно пугает неистовость, которую внесли «жрицы Вакховы» в гармоническое античное бытие. Он пытается увидеть корни этого бедствия в самой женской психологии, не останавливаясь даже перед весьма рискованными характеристиками женщин Великой французской революции. Это было вполне в духе русского сентиментализма. Учитель Батюшкова М. Муравьев полагал, что образ вакханки несовместим с «чувством прекрасного»: «Может ли рука того человека живописать ягую Гранию, которого одичалые и грубые черты являют нам истинную Вакханку?» Батюшков-моралист близок риторический вопрос Муравьева. Но Батюшков-поэт с легкостью его обходит. Художнику не страшны нравоучительные запреты. Гоголь писал о том, что Батюшков приближал русскую поэзию «к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой сущности».

Но сам Батюшков постоянно колебался, не решаясь поверить в правоту своего идеала «осязаемой сущности». В этих колебаниях и заключалось то немногое, что, по словам Белинского, не позволило Батюшкову «переступить за черту, разделяющую большой талант от гениальности».

В. КОШЕЛЕВ  
ЧЕРЕПОВЕЦ